

КИНЖАЛ ДЛЯ ПОЭТА-ДЕКАДЕНТА

Сумерки над Невой



ЮЛИАН ВОРОН

18+

Юлиан Ворон

Кинжал для поэта-декадента

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73067873

SelfPub; 2026

Аннотация

Петербург, 1913 год.

В разгар богемной ночи в подвале знаменитого кабаре «Бродячая собака» убит кумир публики, поэт-декадент Иннокентий Рыльский.

Частный сыщик Родион Воронов, ставший невольным свидетелем трагедии, берется за расследование, но обычное дело о ревности быстро превращается в смертельную ловушку.

Нити преступления ведут из грязных притонов в роскошные особняки, где тайный «Орден Змеи» обещает вечную молодость в обмен на душу и состояние. Воронову предстоит сменить личность, спуститься на социальное дно и рискнуть всем, чтобы разоблачить элитную секту шантажистов, пока яд их пороков не отравил весь город.

Содержание

ОТ АВТОРА	4
Глава 1. Зелёная фея и черный кинжал	6
Глава 2. Антракт с полицией	19
Глава 3. Остывший след	27
Глава 4. Отвергнутая муза	32
Глава 5. Разговор с Сальери	39
Глава 6. Чернила и желчь	46
Глава 7. Черная метка	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Юлиан Ворон

Кинжал для поэта-декадента

ОТ АВТОРА

Данная книга является художественным произведением в жанре исторического детектива.

Историческая достоверность: В романе упоминаются реальные исторические личности (деятели культуры Серебряного века) и названия существующих в описываемую эпоху заведений. Однако их описание, действия, диалоги и мотивы являются плодом авторской фантазии и помещены в вымышленные обстоятельства ради развития сюжета. Любые совпадения с реальными событиями или ныне живущими людьми случайны.

Упоминание запрещенных веществ: В тексте присутствуют сцены употребления наркотических веществ и алкоголя. Это обусловлено историческим контекстом эпохи декаданса начала XX века и служит исключительно для создания атмосферы, а также раскрытия трагических судеб персонажей. **Автор не пропагандирует употребление наркотиков, не призывает к их изготовлению или распро-**

странению и осуждает незаконный оборот наркотических средств. Описанные последствия употребления носят негативный и разрушительный характер.

Религиозные и мистические организации: Описанная в книге секта («Орден Змеи»), её ритуалы и идеология являются полностью вымышленными. Они не имеют отношения к каким-либо реально существующим религиозным конфессиям, духовным практикам или общественным организациям и не преследуют цели оскорбить чьи-либо чувства.

Глава 1. Зелёная фея и чёрный кинжал

В подвале «Бродячей собаки» в ту ночь было не продохнуть. Воздух здесь, казалось, можно было резать ножом, как густой, прогорклый холодец. Он был тяжёлым, пропитанным едким дымом дешёвых папирос, смешанным с ароматом га-ванских сигар, приторным запахом пролитого бордо, женских духов «L'Origan» и мокрой псины – так пахла петербургская оттепель 1913 года, бесцеремонно забравшаяся с улицы под землю.

Стены, расписанные причудливыми цветами и птицами кисти Судейкина, казалось, сжимались, давя на присутствующих пестротой красок. Здесь, в этом тесном склепе, время текло по своим, особым законам. Снаружи, на Итальянской улице, дремали городские и мерзли извозчики, а здесь жизнь кипела, больше похожая на горячечный бред.

Родион Воронов сидел в самой густой тени, за маленьким колченогим столиком у дальней колонны, надвинув шляпу на глаза. Перед ним стояла чашка давно остывшего, отвратительного кофе, к которому он так и не притронулся. Воронов ненавидел это место. Ненавидел эту духоту, эту наигранную истеричность, этих напудренных девиц с глазами, обведенными углем, словно у покойниц, и поэтов, читающих стихи

о смерти с бокалом шампанского в руке.

Он был здесь не ради искусства. В кармане его добротного твидового сюртука лежала фотография приказчика торгового дома Елисеевых. Этот мелкий жулик три дня назад исчез вместе с хозяйской кассой, и осведомители донесли, что беглец, возомнивший себя эстетом, собирался сегодня прокутить украденные деньги именно здесь, в обществе богемы.

Воронов ждал уже три часа. Он курил одну папиросу за другой, выпуская дым в и без того сизый потолок, и наблюдал. Его взгляд, холодный и профессионально цепкий, скользил по лицам, отмечая детали, невидимые для восторженной публики. Вон тот юнкер явно проигрался в карты и теперь ищет, у кого бы перехватить десятку. Дама в лисьем мантио нервничает, постоянно поправляя вуаль, – видимо, ждет любовника, которого здесь быть не должно.

Но приказчика не было. Зато был Иннокентий Рыльский. И, судя по всему, Воронову предстояло досмотреть этот балаган до конца.

– Вы хотите стихов? – раздался с эстрады голос, в котором бархат мешался с металлическим звоном.

Рыльский стоял на крохотной, сколоченной из трех досок сцене, освещённый единственным электрическим прожектором. Луч света выхватывал его фигуру из полумрака, делая её похожей на видение. Высокий, неестественно худой, с вьющимися тёмными волосами, спадающими на мокрый лоб, он был облачен в безупречный фрак. В этой прокурен-

ной дыре, среди пятен вина и пепла, этот фрак казался вызовом. Насмешкой.

Его бледное, породистое лицо застыло маской – трагической и презрительной одновременно. Губы кривились в улыбке, от которой веяло холодом. Он был пьян, но держался на ногах с пугающей твердостью лунатика, идущего по карнизу. В тонкой руке он сжимал бокал с мутной зеленоватой жидкостью. Абсент.

– Я спрашиваю вас! – выкрикнул он, обводя мутным взглядом зал. – Вы пришли сюда, набив брюхо рябчиками, чтобы я пощекотал вам нервы? Вы, свиньи, хотите жемчуга?

Толпа радостно, утробно взревела. Их не оскорблял его тон. Напротив, они жаждали этого. Богатые купцы, скучающие аристократы, офицеры гвардии – они платили бешеные деньги за вход не ради ямбов и хореев. Они платили за унижение. Унижение из уст модного гения было изысканной приправой к их пресыщенной жизни.

Воронов лишь криво усмехнулся, чиркнув спичкой о коробок.

«Им нравится, когда их мешают с грязью, – подумал он, прикуривая очередную «Дюшес». – Удивительный город. Удивительные люди».

Взгляд сыщика снова заскользил по залу, игнорируя беснующуюся толпу и фокусируясь на отдельных лицах. Рыльский был центром этого водоворота, но вокруг него кружили акулы поменьше.

В углу, сцепив зубы, сидел Лев Гурский. Сгорбившийся над бокалом дешевого вина, в поношенном сюртуке, он напоминал черную, нахохлившуюся птицу. Его пальцы комкали салфетку с такой силой, что костяшки побелели. Он не сводил глаз с Рыльского, и в этом взгляде не было ни капли восторга. Только чистая, дистиллированная ненависть. Воронов отметил этот взгляд – взгляд человека, готового к прыжку.

Рыльский сделал шаг к краю сцены и, глядя прямо в глаза сопернику, поднял бокал:

– Пью за тех, кто пишет чернилами, пока мы пишем кровью! За ремесленников, подметающих крошки с барского стола вдохновения!

Гурский вздрогнул. Лицо пошло красными пятнами, но он не отвел взгляда. В его глазах читалась смесь муки и благоговения. Рыльский удовлетворенно усмехнулся: удар достиг цели. Гурский еще не знал, какой финал заготовлен для него сегодня.

Поэт перевел взгляд ниже. У самого края сцены, в первом ряду, сидела Лили Соколова. Её огромные, подведенные сурьмой трагические глаза были полны слез и собачьего обожания. Она смотрела на него, как на божество, сошедшее с небес. Бедняжка. Глупая, влюбленная кукла.

– А вот и моя муза, – промурлыкал Рыльский, понизив голос до интимного шепота, который, однако, слышал весь зал. – Нежная Лили... Скажите, дитя, вы все еще ждете мад-

ригалов? Ждете признаний при луне?

Лили подалась вперед, её губы дрогнули в робкой улыбке надежды.

– Кеша... – выдохнула она едва слышно.

Рыльский резко отвернулся от неё, словно она была пустым местом.

– Любовь сдохла, господа! – рывкнул он в зал. – Мы препарировали её на этом столе, и оказалось, что внутри только требуха и скука! Сегодня днём я смешал её с грязью, но посмотрите – она здесь. Она покорно ждет новой порции боли, как нищенка ждет подавания.

По залу прошел смешок. Кто-то свистнул. Лили закрыла лицо руками, плечи затряслись. Рыльский почти жалел её. Почти. Но жалость – чувство для мещан. Её страдания были прекрасным материалом, глиной, из которой он лепил свой триумф.

Бедняжка. Очередная мотыльковая душа, летящая на огонь.

А там, в густой тени у барной стойки, утонув в роскошных собольих мехах, притаилась княгиня Трубецкая. Её лицо было скрыто плотной вуалью, но Рыльский чувствовал её напряжённый, голодный взгляд. Она ждала от него не стихов о любви или смерти. Она ждала мистических прозрений. Откровений из мира духов, словно он был мессией нового, темного культа. Старая ведьма. Она ещё щедро заплатит за свои иллюзии. Золотом заплатит за то, чего нет.

Он ненавидел их всех. Эту потную, жующую, пьяную массу. И они, в своей извращенной манере, ненавидели его. Это была идеальная любовь.

– Вы хотите знать, что будет дальше? – Рыльский схватил со столика, стоявшего на сцене, бутылку абсента и плеснул себе в бокал, расплескивая драгоценную жидкость на лакированные туфли. Он залпом выпил, даже не поморщившись. – Тогда слушайте! Это мой подарок вам. Мое прощание. И мое проклятие.

Резким, почти театральным движением он выхватил из-за пояса кинжал. Старинный, кавказский, с серебряной насечкой на рукояти, подарок какого-то пьяного князя, проигравшегося в карты. Лезвие хищно блеснуло в свете прожектора.

Кто-то в первых рядах ахнул и отшатнулся. Воронов напрягся, готовый вмешаться, если этот пьяный фарс перерастет в поножовщину. Рука его невольно скользнула в карман, нащупывая рукоять кастета.

Но Рыльский лишь безумно усмехнулся. С размаху, вложив в удар всю свою желчь, он воткнул клинок в деревянную столешницу рядом с собой.

Бах!

Кинжал вошел глубоко, вибрируя и дрожа, как живой организм.

В зале повисла мертвая тишина. Рыльский оперся о стол, приблизил лицо к рукояти кинжала и зашептал, перекрывая тишину зала, с интонациями, от которых мороз продирает по

коже:

*Польнь горит в крови, и опиум – в бокале,
И ангел мой, смеясь, танцует на кинжале.
Я с мясом рву вуаль! Я обнажаю души,
Чтоб бросить их толпе – разделай и сожри!*

*Глядите: вот Любовь – гниет в дешевой раме,
И Дружба – верный пес, повешенный друзьями!*

Секунда тишины после последней строфы показалась вечностью. А потом подвал взорвался.

Аплодисменты переросли в овацию. Крики «Гений!», «Браво, Кеша!», женский визг. Кто-то швырнул на сцену алую розу. Цветок ударился о грудь поэта и упал к его ногам, словно капля крови.

Рыльский не улыбался. Он стоял неподвижно, лишь чуть склонив голову, принимая эту дань не как награду, а как должное. Он был королём этого подвального царства, и все присутствующие – от нищего Гурского до богатейшей Трубецкой – были его подданными. Добровольными рабами его таланта и его пороков.

Он сделал ленивый знак Борису Пронину, хозяину кабаре, который маячил у входа в служебное помещение. Тот, подобострастно изогнувшись, тут же поднёс ему новую порцию абсента.

Рыльский осушил бокал одним глотком. Голова приятно кружилась, мир терял четкие очертания, превращаясь в

вихрь красок и звуков. Сегодня была его ночь. Ночь триумфа и мести. Он приготовил для своей публики такое представление, после которого «Бродячая собака» либо сгорит в огне грандиозного скандала, либо станет бессмертной.

Рыльский резко отвернулся от зала. Он взял со стола недопитую бутылку, посмотрел на дрожащую рукоять кинжала, торчащего из стола, и скривился.

– Представление окончено! – бросил он через плечо, даже не глядя на беснующуюся толпу. – Убирайтесь. Пошли вон! Все!

Толпа, довольная финальной выходкой кумира, начала медленно, неохотно расходиться. Гости натягивали шубы, переговаривались, смеялись, обсуждая скандальные строчки.

Он опустился на стул, прямо перед своим кинжалом. Проектор погас, оставив лишь тусклый свет дежурной лампы. Маска высокомерия сползла с его лица, обнажив глубокие морщины и страх в глазах.

Он вынул из кармана фрака сложенный листок бумаги, развернул его дрожащими пальцами и долго смотрел на написанные там строки. Потом перевел взгляд на лезвие кинжала.

– Ну что ж, – прошептал он в пустоту. – Ангел танцует. Пора и нам станцевать.

Воронов достал часы-луковицу. Половина пятого утра. Приказчик не придет. Ловить здесь больше нечего, кроме

головной боли от табачного дыма.

Он поднялся, оставил на столе монету за кофе и начал пробираться к выходу, лавируя между возбужденными зрителями.

В гардеробе было тесно и шумно. Швейцар, сонный старик в ливрее, с трудом справлялся с наплывом гостей. Воронов получил свое тяжелое пальто с бобровым воротником, шляпу и трость. Он уже застегивал пуговицы, предвкушая глоток свежего морозного воздуха и тишину утренних улиц, когда из зала, перекрывая шум толпы и звон посуды, донесся крик.

Это был не восторженный визг поклонницы и не пьяный хохот. Это был животный, захлебывающийся вопль ужаса, от которого стынет кровь.

– Он мертв! Господи Иисусе, он мертв!

Воронов замер, не донеся руку до шляпы. Мгновение – и скачущий наблюдатель исчез. На его месте возник офицер, прошедший маньчжурскую кампанию, и сыщик, видевший сотни трупов.

Он резко развернулся, грубо оттолкнул какого-то студента, мешавшего проходу, и рванул обратно в зал, расталкивая остолбеневшую публику.

– Дорогу! Пропустите!

Зал почти опустел, но у сцены образовалась плотная пробка из людей. Дамы прижимали платки к губам, мужчины вытягивали шеи. Все жались друг к другу, боясь подойти бли-

же, но не в силах оторвать взгляд.

Воронов, работая локтями, пробился сквозь толпу и взбежал на эстраду.

Посреди сцены, на том же стуле, сидел Иннокентий Рыльский. Его поза была неестественно расслабленной: голова запрокинута назад, рот полуоткрыт, руки безвольно свисали вдоль тела, касаясь пола кончиками пальцев.

Но взгляд Воронова приковало не лицо поэта.

Из левой стороны груди, пробив накрахмаленную манишку и безупречную ткань фрака, торчала знакомая черная рукоять кинжала с серебряной насечкой. Того самого кинжала, что пять минут назад, когда Воронов выходил из зала, торчал в деревянной столешнице.

Крови было немного – темное, почти черное в свете лампы пятно медленно расплзлось по белой ткани, как злое щий, распускающийся цветок.

Рядом, схватившись за голову и раскачиваясь из стороны в сторону, выл Борис Пронин. У самой кулисы, на полу, валялась в обмороке уборщица Глафира, выронившая ведро с водой.

Воронов быстро приложил два пальца к шее поэта, прямо под сонную артерию. Пульса не было. Кожа была еще теплой, но жизнь уже покинула это тело. Одним точным, сильным ударом. Прямо в сердце.

Он резко выпрямился и обернулся к залу. Его серые глаза были холодны, как нельская вода.

– Никому не выходить! – рявкнул он голосом, привыкшим командовать эскадрой под огнем. – Двери запереть! Швейцар, встать у входа! Никого не выпускать! Кто дернется – буду стрелять!

Толпа отшатнулась, словно от удара хлыстом. В наступившей тишине всхлип Пронина прозвучал как выстрел. Антрепренёр поднял на сыщика безумные глаза, полные слез и животного ужаса.

– Родион Ильич... Вы... вы здесь?

– Я здесь, Борис. И, кажется, ваше представление закончилось плохо.

– Он мертв? – прошептал Пронин, глядя на тело своего кумира.

– Мертвее не бывает. Кто подходил к нему? – Воронов шагнул к антрепренёру, схватил его за лацканы дорогого сюртука и сильно встряхнул, приводя в чувство. – Я вышел пять минут назад. Он был жив. Кинжал был в столе. Кто был рядом?

– Я... я не знаю... – лепетал Пронин, стуча зубами. – Я был в конторе... считал выручку... Все уходили... Глафира пришла убирать... и закричала...

– Полицию вызвали?

– Нет... еще нет... – Пронин вдруг вцепился в рукав сыщика мертвой хваткой. В его глазах, затуманенных ужасом, мелькнула отчаянная, безумная надежда. – Родион Ильич! Умоляю! Не вызывайте пока! Они же закроют нас! Приедет

этот солдафон пристав, они опечатают всё, они уничтожат «Собаку»! Это конец!

– Здесь труп, Пронин. Это не кража столового серебра и не пьяный дебош.

– Я заплачу! – яростным шепотом заговорил антрепренёр, оглядываясь на притихшую, испуганную толпу у сцены. – Двести рублей! Прямо сейчас! Найдите, кто это сделал! Быстро! Пока не набежали газетчики! Здесь все свои! Убийца не мог уйти, вы сами заперли дверь! Найдите его, Родион Ильич, и я буду вашим должником до гроба!

Воронов медленно разжал пальцы, выпуская лацканы Пронина. Он оглядел зал. Сизый дым сигар, кислый запах пролитого вина, перепуганные, бледные лица «гениев», муз и их поклонников. Гурский, застывший в углу с выражением злорадного ужаса. Лили Соколова, сползающая по стене в истерике. Пустой стул там, где сидела княгиня.

Где-то здесь, среди них, был тот, кто подошел к спящему или пьяному поэту, выдернул кинжал из дерева и с наслаждением вонзил его в человеческую плоть. И этот кто-то был еще здесь, запертый в одной клетке с сыщиком.

– Хорошо, – холодно сказал Воронов, снимая шляпу и бросая её на стул рядом с телом. – Я возьмусь. Но полицию всё равно придется вызвать, Борис. Скрыть убийство нам не удастся. Однако, пока они едут по сугробам, у нас есть полчаса. А за полчаса можно сделать многое.

Он закатал рукава сюртука.

– Вставайте, Пронин. Перестаньте выть. Велите подать мне лампу поярче. И соберите всех, кто остался, в центре зала. Осмотр начинается.

Глава 2. Антракт с полицией

Швейцар, трясясь от страха и усердия, загремел засовами, отрезая подвал от внешнего мира. В зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжёлым, с присвистом дыханием Пронина да тихими всхлипами дам в дальнем углу. Эта тишина была страшнее любого крика. Она была осязаемой, липкой, пахнувшей бедой.

Воронов не терял времени. Он знал: как только сюда ворвутся казённые сапоги, хрупкая паутина улик будет порвана в клочья. У него было, может быть, четверть часа, чтобы увидеть то, что сотрут, затопчут и не заметят.

– Лампу! – скомандовал он бармену, застывшему соляным столбом за стойкой. – Живо! И поставьте её на стул, рядом с телом.

Когда свет керосиновой лампы, более яркий и тёплый, чем мертвенный луч электрического прожектора, залил сцену, Воронов опустился на одно колено перед убитым.

Иннокентий Рыльский был мёртв, в этом сомнений не было. Смерть, которую он так долго воспевал в своих декадентских виршах, явилась к нему буднично и грубо. Глаза поэта были полуоткрыты, и в них застыло не мистическое прозрение, а глупое, рыбе удивление.

Воронов достал из кармана чистый батистовый платок и, обернув им пальцы, осторожно коснулся рукояти кинжала.

Она сидела плотно. Удар был нанесён с чудовищной силой, но без размаха – сверху вниз.

«Убийца стоял рядом, – отметил про себя сыщик. – Скорее всего, подошёл сзади или сбоку, пока Рыльский дремал или был в забытии. Взял кинжал со стола – вон, щепки во-круг дырки в столешнице ещё свежие, – и ударил. Рыльский даже не успел поднять руку для защиты».

Воронов внимательно осмотрел одежду убитого. Безупречный фрак, накрахмаленная сорочка, теперь испорченная пятном крови. И тут его взгляд зацепился за деталь, которую легко было пропустить в полумраке.

Левый борт фрака, тот самый, где находился внутренний карман, был слегка оттопырен. Шелковая подкладка была неестественно натянута и смята, словно чья-то рука грубо и поспешно шарила там, пытаясь что-то достать. Бутоньерка с белой гвоздикой была надломлена, лепестки осыпались на колени мертвеца.

Это было не просто убийство страсти. Это был обыск.

Сыщик перевёл взгляд на стол. Пустая бутылка, опрокинутый бокал, лужа, в которой плавал окурок. И больше ничего.

– Пронин, – не оборачиваясь, позвал он.

Антрепренёр, всё это время стоявший у края сцены и заламывавший руки, вздрогнул.

– Я здесь, Родион Ильич.

– Когда он читал стихи, у него в руках был листок? Руко-

пись?

– Был... кажется, был. Он достал его из кармана.

– А потом?

– Потом он положил его на стол. Я точно видел. Он ещё накрыл его ладонью, когда пил. Словно боялся, что улетит.

Воронов указал на пустую столешницу.

– Тогда где он?

Пронин вытаращил глаза. Листка не было. Ни на столе, ни на полу под ногами трупa. Воронов быстро, но тщательно проверил остальные карманы убитого. Кошелёк с мелочью, золотые часы на цепочке (они всё ещё тикали, отсчитывая время, которое для их хозяина уже кончилось), портсигар.

Деньги не тронули. Часы не взяли.

– Кто-то забрал рукопись, – констатировал Воронов, поднимаясь. – Убийца унёс не только жизнь, но и последнее творение. Или что-то, что было спрятано в этом тексте.

Внезапно снаружи, с улицы, донёсся нарастающий шум, свистки и топот множества ног. А затем в железную дверь забарабанили так, что с низких сводов посыпалась штукатурка.

– Полиция! Открывайте! Именем закона!

Швейцар вопросительно посмотрел на Воронова. Тот выпрямился, отряхнул колени и кивнул.

– Впускай, любезный. Антракт окончен.

Дверь распахнулась, впуская внутрь клуб морозного пара и отряд городских во главе с приставом 1-го участка Спас-

ской части. Пристав Шульгин был человеком крупным, громогласным и начисто лишённым воображения. Он вошёл в «Бродячую собаку» как хозяин, с нескрываемой брезгливостью озирая расписанные стены и притихшую публику.

– Что здесь происходит? – рявкнул он, его усы топорщились от мороза и важности. – Почему заперто? Поступил сигнал о поножовщине!

Его взгляд упал на сцену, на тело во фраке с кинжалом в груди.

– Матерь Божья... – выдохнул Шульгин, и его тон мгновенно сменился с начальственного на деловитый. – Никому не двигаться! Городовые, оцепить зал! Никого не выпускать без допроса!

Он тяжёлой поступью направился к сцене, но путь ему преградил Воронов.

– Доброй ночи, господин пристав. Или уже доброго утра.

Шульгин остановился, прищурившись. Он знал Воронова. В Петербурге их пути пересекались не раз, и эти встречи редко доставляли приставу удовольствие. Воронов был для него «штатской костью в горле» – слишком умный, слишком независимый и, что хуже всего, часто оказывавшийся прав.

– Воронов? – проворчал Шульгин. – Вы-то тут откуда взялись? Опять трупы нюхаете раньше служебной собаки?

– Отдыхаю, – спокойно ответил сыщик, опираясь на трость. – Пью кофе. Стал невольным свидетелем происшествия. Тело не трогали, только осмотрели. Смерть мгновен-

ная, удар в сердце. Орудие преступления на месте. И, смею заметить, пропала рукопись, которую читал покойный.

– Рукопись? – фыркнул пристав, поднимаясь на сцену. Он грубо отодвинул Пронина и склонился над Рыльским. – Комму нужны бумажки? Тут душегубство. Кто такой?

– Иннокентий Рыльский. Поэт, – пискнул Пронин.

– Поэт... – хмыкнул Шульгин. – Дописался, значит.

Он обернулся к залу, где жались друг к другу перепуганные артисты.

– Ну и кто из вас, господа скоморохи, его пришил? Добровольцы есть? Или всех в участок везти?

ал ответил гробовым молчанием. Лишь Лили Соколова громко всхлипнула.

– Понятно, – кивнул пристав. – Значит, будем оформлять всех. А заведение ваше, господин... как вас там...

– Пронин, – подсказал антрепренёр, бледный как полотно.

– Господин Пронин. Заведение ваше опечатываем. До выяснения обстоятельств. А то и навсегда. Развели тут, понимаешь, вертеп. Пьют, режут друг друга... Не кабаре, а бойня.

Пронин пошатнулся, словно его ударили. Закрытие «Собаки» означало для него не просто убытки. Это был крах всей жизни. Он бросил умоляющий взгляд на Воронова.

Сыщик едва заметно кивнул. Пора было вступать в игру официально.

– Позвольте, господин пристав, – Воронов сделал шаг вперёд, загораживая собой несчастного владельца. – Закрытие

заведения – мера крайняя. Убийство произошло на глазах у десятков свидетелей, включая меня. Круг подозреваемых ограничен теми, кто находится в этом зале. Если вы сейчас закроете «Собаку» и увезёте всех скопом в участок, вы лишь создадите панику и дадите настоящему преступнику шанс затеряться в толпе.

– Вы мне указывать будете, Воронов? – побагровел Шульгин. – Вы здесь никто. Частное лицо. Свидетель. Вот и стойте в сторонке, пишите показания.

– Я здесь не просто свидетель, – твёрдо произнёс Воронов, доставая из кармана визитную карточку. – Я официально нанят господином Прониным для проведения независимого расследования в интересах защиты репутации его заведения. И я уже начал работать.

Шульгин взял карточку, повертел её в толстых пальцах и с усмешкой посмотрел на Пронина.

– Это правда? Вы наняли этого... сыщика?

– Да! – выпалил Пронин с горячностью утопающего, хватящегося за соломинку. – Да, нанял! Господин Воронов представляет мои интересы! И я прошу... я требую, чтобы ему позволили присутствовать при всех следственных действиях!

Пристав сплюнул на пол, прямо на паркет.

– Требует он... Ладно. Чёрт с вами. Пусть присутствует. Меньше мне писанины. Но предупреждаю, Воронов: будете путаться под ногами – вышвырну вместе с вашим мандатом.

И «Собаку» вашу всё равно прикрою, пока убийцу не найду.
– Справедливо, – кивнул Воронов. – Но убийцу мы найдём. Он здесь.

В этот момент в зал вошёл полицейский врач, маленький человечек с саквояжем, пахнувший карболкой. Начиналась рутина: протоколы, осмотр тела, опись вещей. Магия ночи рассеивалась, уступая место серой реальности полицейского расследования.

Воронов отошёл в тень, к стене, расписанной яркими цветами. Он наблюдал.

Он видел, как Лев Гурский, который ещё пять минут назад выглядел испуганным, теперь сидел с видом мрачного торжества, словно смерть соперника принесла ему физическое облегчение.

Видел, как Лили Соколова, перестав рыдать, нервно тёрла запястье левой руки, словно пытаясь стереть с него невидимое пятно. И рукав её платья скрывал что-то, что, как показалось Воронову, было похоже на свежий порез.

Видел, как опустел стул в углу, где сидела княгиня Трубецкая. Она исчезла. Исчезла до прихода полиции, воспользовавшись суматохой. Или у неё был свой выход?

«Княгини нет, – отметил Воронов. – Это первое звено. Рукописи нет – второе. Кинжал свой, "родной", но кто-то обыскал тело – третье».

Шульгин что-то громко командовал городовым, врач гремел инструментами, Пронин давал показания, глотая слёзы.

А Воронов стоял неподвижно, как охотник в засаде. Антракт закончился. Началось второе действие, и в нём ему предстояло сыграть главную роль.

Он подошёл к Пронину, которого на секунду оставил пристав.

– Борис, – тихо сказал он. – Мне нужен список всех, кто был здесь сегодня. И адреса. Особенно тех, кто успел уйти до приезда полиции.

– Княгиня... – прошептал Пронин, поняв его с полуслова. – Она ушла через служебный ход. У неё свой ключ.

– Ключ? – Воронов поднял бровь. – Любопытно. Очень любопытно.

– Родион Ильич, – Пронин схватил его за руку. Рука антрепренёра была влажной и холодной. – Спасите нас.

– Я постараюсь, – ответил Воронов. – Но, боюсь, эта ночь – только начало.

Он повернулся к выходу. Ему нужно было выбраться отсюда, пока Шульгин не передумал и не запер его вместе с остальными. Ему нужно было подумать. В тишине, а не в этом балагане смерти.

На улице занимался серый, промозглый рассвет. Петербург просыпался, ещё не зная, что один из его самых скандальных голосов замолчал навсегда.

Глава 3. Остывший след

Выбравшись из прокуренного подвала на улицу, Воронов первым делом жадно вдохнул ледяной воздух. После удушливой атмосферы «Бродячей собаки», пропитанной духами, страхом и смертью, сырость петербургского утра казалась живительным бальзамом.

Город, застрявший в межсезонье, выглядел серым и похмельным. Фонари уже погасли, но солнце ещё не встало, и в этих мутных сумерках дома на Итальянской площади казались нарисованными грязной акварелью. Снег, выпавший ночью, превратился в слякотную кашу, чавкающую под ногами.

У подъезда, сгорбившись на козлах, дремал одинокий извозчик. Его лошадь, такая же понурая и серая, как и всё вокруг, переминалась с ноги на ногу, выпуская из ноздрей клубы пара.

– Свободен? – окликнул его Воронов, тронув за плечо тростью.

Извозчик встрепенулся, сбив шапку на затылок.

– Свободен, барин! Куда прикажете?

– На Гороховую. И не гони, голова трещит.

Сани тронулись, мягко зашуршав полозьями по мокрой брусчатке. Воронов откинулся на кожаную спинку, поднял воротник пальто и закрыл глаза. Напряжение последних ча-

сов начало отпускать, уступая место свинцовой усталости. В висках стучало, перед глазами всё ещё стояла картина: белая манишка, чёрная рукоять кинжала и расплывающееся пятно крови.

Он думал не о смерти. Смерть была фактом, точкой в конце предложения. Он думал о том, что было вычеркнуто из этого предложения.

«Рукопись, – размышлял он под мерный цокот копыт. – Убийца рисковал. У него были секунды. Он мог просто ударить и уйти, смешавшись с толпой. Но он задержался. Он полез во внутренний карман мертвеца. Он искал не деньги – бумажник на месте. Не часы – золотой "Breguet" остался в жилетном кармане. Ему нужна была бумага. Стихи? Или что-то, что Рыльский прятал среди стихов?»

Сани свернули на Садовую. Мимо проплывали редкие дворники, скребущие тротуары, да первые разносчики с лотками. Город просыпался, равнодушный к трагедиям своих поэтов.

Воронов добрался до дома, когда часы на городской думе пробили шесть. Поднявшись на второй этаж, он долго возился с ключом – пальцы замерзли и не слушались.

Его квартира встретила его тишиной и запахом остывшего камина. Здесь, среди книжных шкафов и старых карт, мир казался логичным и упорядоченным.

Он не стал раздеваться сразу. Прошёл в кабинет, зажёл настольную лампу под зелёным абажуром и плеснул себе в ста-

кан коньяку. Жидкость обожгла горло, прогоняя холод ночи.

Затем он сел за стол, придвинул к себе чистый лист бумаги и взял перо.

Воронов всегда думал с пером в руке. Чернила помогали зафиксировать хаос мыслей, превратить эмоции в улики.

Он вывел в центре листа: *«Иннокентий Рыльский. Убит ударом в сердце. Время: между 04:30 и 04:45»*.

Ниже он начал составлять список. Список тех, кто был в зале и у кого был мотив ненавидеть «гения».

1. Лев Гурский.

Мотив: Зависть. Личная неприязнь. Публичное унижение. Рыльский называл его «бездарностью» и «тенью».

Возможность: Сидел в углу, наблюдал. Мог подойти к сцене, пока в зале была суматоха.

стали: Вид у него был не испуганный, а торжествующий. Словно он выиграл в лотерею.

2. Лили Соколова.

Мотив: Ревность. Обида. Рыльский растоптал её чувства перед всем залом. Женщины убивали и за меньшее.

Возможность: Сидела в первом ряду. Ближе всех к сцене.

Детали: Странное поведение. Сначала истерика, потом – холодная отстраненность. И этот жест... Она тёрла руку. Свежий порез? Или царапина? Кинжал был острым. Неумелая рука могла соскользнуть.

3. Княгиня Софья Трубецкая.

Воронов подчеркнул это имя дважды.

Мотив: Неизвестен. Возможно, деньги (она спонсировала его?) или разочарование в «пророке».

Возможность: Идеальная. Она исчезла до прихода полиции. У неё был свой ключ от служебного входа. Она могла пройти через кулисы, ударить и выйти незамеченной.

Детали: Пронин боится говорить о ней. Её стул был пуст, когда Воронов вернулся.

4. Борис Пронин.

Мотив: Деньги? Шантаж? Рыльский был «золотой жилой» кабаре, но мог стать и обузой. «Бродячая собака» всегда на грани банкротства.

Возможность: Хозяин заведения. Был везде и нигде. Утверждает, что считал выручку. Никто не может подтвердить.

Детали: Слишком старательно изображает горе. И слишком быстро предложил деньги за расследование, лишь бы не вmeshивать полицию. Боится скандала или боится, что найдут что-то конкретное?

5. Неизвестный (Третий).

Тот, кто обыскал карманы. Мог ли это быть Гурский или Соколова? Вряд ли. Это действие холодного расчёта, а они были на эмоциях. Кто-то, кому нужны были бумаги.

Воронов отложил перо и потёр переносицу. Картинка складывалась пёстрая. Убийство страсти (удар кинжалом) накладывалось на убийство расчёта (похищение бумаг).

Либо убийц было двое, либо один человек обладал чудо-

вищным хладнокровием, способным имитировать страсть, чтобы скрыть расчёт.

Он вспомнил слова Рыльского перед смертью: «...*И ангел мой, смеясь, танцует на кинжале*».

Поэт сам срежиссировал свой финал. Он дразнил зверей в клетке, пока один из них не откусил ему голову.

Воронов допил коньяк и встал. Сон навалился тяжёлой плитой.

«Утро вечера мудренее, – подумал он, гася лампу. – А в нашем случае – дня. Днём маски прирастают к лицам плотнее, но при солнечном свете видны трещины».

Он прошёл в спальню, упал на кровать поверх одеяла и провалился в тяжёлый, без сновидений сон. Ему нужно было восстановить силы. Потому что, когда он проснётся, охота начнётся по-настоящему. И первым зверем, которого он собирался загнать, была «отвергнутая муза» с порезом на руке.

Глава 4. Отвергнутая муза

Адрес, который дал Пронин, привёл Воронова в доходный дом на Караванной, всего в двух кварталах от места трагедии. Это было удобно – слишком удобно для человека, который мог совершить убийство и быстро скрыться в своей норе.

Дом был из тех, что снаружи пытаются сохранить остатки бывшего величия, выставляя напоказ лепнину и атлантов, а внутри пахнут кошачьей мочой, жареной рыбой и безысходностью. Воронов поднялся на последний этаж, где обычно ютились студенты, модистки и актрисы кордебалета.

Дверь ему открыли не сразу. За тонкой перегородкой слышались торопливые шаги, звон стекла и сдавленные рыдания. Когда замок наконец щёлкнул, на пороге возникла Лили Соколова.

Она была совсем не похожа на ту блистательную, хоть и заплаканную красавицу, которую Воронов видел в первом ряду «Бродячей собаки». Сейчас перед ним стояла измученная, сломленная женщина. На ней было модное, но уже поношенное японское кимоно из лилового шёлка, расшитое хризантемами, которое она судорожно запахивала на груди. Тёмные волосы, обычно уложенные в сложную причёску, рассыпались по плечам спутанными прядями. Огромные глаза, обведенные кругами от размазанной туши и бессон-

ницы, смотрели на гостя с животным страхом.

– Кто вы? – спросила она хриплым голосом. – Журналист? Уходите! Я ничего не скажу!

– Я не журналист, Лидия Павловна, – Воронов шагнул через порог, заставив её отступить. – Родион Воронов, частный сыск. Мы виделись сегодня ночью. В подвале.

Она вздрогнула, словно от удара током, и прижалась спиной к стене узкой прихожей.

– В подвале... – повторила она, и её губы задрожали. – Значит, это правда? Мне не приснилось? Кеша... он действительно...

– Мёртв, – жёстко закончил Воронов. – И я здесь, чтобы выяснить, кто помог ему умереть.

Он прошёл в комнату, не дожидаясь приглашения. Лицо актрисы было крошечным и напоминало гримёрную, в которой взорвалась бомба. Повсюду были разбросаны платья, чулки, нотные листы. На столе, среди чашек с недопитым кофе и пустых флаконов из-под духов, лежала раскрытая книга – томик стихов Рыльского в алом переплёте. Рядом с ним стояла фотография поэта в серебряной рамке, перевязанная чёрной лентой. Видимо, траур здесь начали носить ещё до того, как тело остыло.

В комнате стоял тяжёлый, спертый запах – смесь дорогих духов, валериановых капель и несвежего белья. Запах женского горя.

Лили вошла следом за ним, кутаясь в кимоно, как в бро-

ню.

– Вы думаете... вы смеете думать, что это я? – прошептала она. – Я любила его! Я боготворила его!

– Любовь и ненависть – две стороны одной медали, сударыня, – Воронов повернулся к ней, опираясь на трость. – Особенно такая любовь. Больная. Жертвенная. Вчера весь зал видел, как он унизил вас. Он вытер о вас ноги, Лидия Павловна. Он назвал вашу любовь требухой.

Глаза девушки наполнились слезами, но на этот раз в них сверкнул гнев.

– Вы ничего не понимаете! – выкрикнула она. – Это была игра! Его великая игра! Он был гением, ему было позволено всё! Да, он мучил меня, но это мучение было слаще, чем обожание любого другого мужчины! Вы, с вашей полицейской душонкой, никогда этого не поймёте!

– Возможно, – холодно согласился Воронов. – Я человек приземлённый. Я вижу факты. А факты таковы: он растоптал вас публично. Вы сидели в первом ряду. Вы были в истерике. И когда всё закончилось, вы были одной из последних, кто оставался в зале.

– Я хотела проститься! – зарыдала она, падая в кресло и закрывая лицо руками. – Я хотела подойти к нему, упасть на колени, вымолить прощение... За то, что была недостаточно хороша для него!

Воронов смотрел на неё и чувствовал смесь жалости и безразличности. Эта женщина была больна своей любовью, как

опиумом. Она напоминала законченную морфинистку, которая ради заветной дозы способна на всё. Даже на убийство того, кто дает ей эту отраву.

Он подошёл к креслу вплотную и навис над ней.

– Вы подходили к нему, Лидия Павловна?

– Нет! – она замотала головой, не отнимая рук от лица. – Я не посмела! Я видела, что он остался один... сидел там, на сцене... такой одинокий, великий... Я испугалась его гнева и убежала!

– Убежали? – переспросил Воронов. – Или нанесли удар?

Она вскочила, её лицо исказилось.

– Как вы смеете?! Вон! Подите вон!

Она взмахнула рукой, указывая на дверь. Широкий рукав кимоно сполз вниз, обнажив тонкое, белое запястье. И Воронов увидел то, что искал.

Поперёк предплечья, чуть выше кисти, шёл свежий, багровый порез. Он был грубо, наспех заклеен полоской пластыря, сквозь который проступила кровь.

Воронов действовал молниеносно. Он перехватил её руку, сжав запястье железной хваткой.

– А это что такое? – рявкнул он.

Лили вскрикнула, пытаясь вырваться, но сыщик держал крепко.

– Пустите! Мне больно!

– Откуда рана, сударыня? Отвечайте!

– Я... я разбила стакан! Ночью! Когда вернулась! У меня

дрожали руки!

Воронов грубо подтянул её руку к свету лампы.

– Не лгите мне! – его голос звучал угрожающе тихо. – Я видел раны от стекла. Они рваные, неровные. А это – чистый, глубокий разрез. Как от бритвы. Или от очень острого, обоюдоострого клинка. Например, от кинжала.

Она замерла, глядя на него расширенными от ужаса глазами. Её сопротивление сломалось. Она обмякла в его руках, превратившись в тряпичную куклу.

– Вы взяли кинжал со стола, – безжалостно продолжал Воронов, не отпуская её руки. – Вы хотели убить его. Или себя? Рука дрогнула? Лезвие соскользнуло?

– Себя... – прошептала она, и слёзы снова хлынули из её глаз, смывая остатки туши. – Я хотела убить себя! Прямо там, у его ног! Чтобы он увидел! Чтобы он понял, кого потерял!

– Но вместо этого убили его?

– Нет! – она закричала так пронзительно, что в соседней комнате кто-то постучал в стену. – Нет! Клянусь вам! Клянусь памятью мамочки! Я подошла к сцене... Я видела кинжал... Он так блестел... Я потянулась к нему... И тут...

– Что? – Воронов чуть ослабил хватку, но не отпустил.

Мне стало страшно, – она всхлипнула. – Я порезалась... случайно... стало больно... вид крови... я испугалась боли. Я трусиха! Жалкая, ничтожная трусиха! Я убежала...

Она сползла на пол, к его ногам, пряча лицо в подол его

пальто. Это была сцена, достойная античной трагедии, сыгранная в дешёвых декорациях меблированной комнаты.

– Я хотела, чтобы он умер! – выла она. – Господи, как я хотела, чтобы он умер и перестал мучить меня! Я представляла это тысячу раз! Но я не смогла... Кто-то другой... Кто-то смелее меня... Он сделал то, о чём я только мечтала!

Воронов смотрел на неё сверху вниз. Он верил ей. И не верил.

Порез был настоящим. Мотив – железным. Её истерика могла быть как искренним горем, так и гениальной актёрской игрой. В мире, где жили эти люди, грань между жизнью и театром была стёрта.

– Встаньте, Лидия Павловна, – сказал он устало, отпуская её руку. – И приведите себя в порядок. Вам стоит обработать рану у лекаря, иначе пойдёт заражение.

Она подняла на него заплаканное лицо, размазывая по щекам чёрные потёки.

– Вы арестуете меня?

– Пока нет. Но я советую вам не покидать города. И молитесь, чтобы ваш «кто-то смелее» нашёлся раньше, чем полиция обратит внимание на вашу руку.

Он развернулся и пошёл к выходу, стараясь не наступать на разбросанные вещи. У самой двери он оглянулся. Лили Соколова сидела на полу, сжимая порезанную руку, и смотрела на портрет Рыльского с такой смесью любви и ненависти, что Воронову стало не по себе.

«Она могла это сделать, – подумал он, спускаясь по тёмной лестнице. – В состоянии аффекта, в безумии страсти. Но рукопись... Зачем безумной любовнице забирать рукопись? Чтобы сохранить последние слова любимого? Или чтобы уничтожить то, что стало причиной её позора?»

Эта женщина была загадкой. Разбитой, истеричной, возможно, опасной загадкой. И Воронов знал: чтобы решить её, ему придётся найти того, кто ненавидел Рыльского совсем иначе. Холодно. Расчётливо. По-мужски.

Следующим в его списке был Лев Гурский.

Глава 5. Разговор с Сальери

Если Иннокентий Рыльский был Моцартом петербургской богемы – лёгким, порочным, сжигающим себя в вихре страстей и абсента, – то Лев Гурский, вне всяких сомнений, был её Сальери.

Воронов нашёл его в редакции толстого литературного журнала «Аполлон», где тот служил секретарём и младшим редактором. Здесь, в тихих кабинетах на Мойке, царила совсем иная атмосфера, нежели в том аду, из которого они оба выбрались на рассвете. Здесь не пахло ни тлением, ни перегаром, ни дешёвой пудрой. Здесь стоял сухой, строгий запах книжной пыли, типографской краски и холодного, академического тщеславия.

Гурский сидел за огромным дубовым столом, заваленным корректурными гранками. Увидев вошедшего Воронова, он не вздрогнул, не побледнел. Он лишь медленно отложил перо, аккуратно промокнул написанное пресс-папье и поднял на сыщика тяжёлый, воспалённый от бессонницы взгляд.

Это был мужчина лет тридцати пяти, с высоким лбом мыслителя и тонкими, бескровными губами, привыкшими кривиться в скептической усмешке. Даже сейчас, после ночи допросов и унижительного обыска, он был одет в строгий сюртук, застёгнутый на все пуговицы, словно человек в футляре, боящийся соприкоснуться с живой, хаотичной жиз-

нью.

– Вы настойчивы, господин Воронов, – произнёс он вместо приветствия. Голос у него был глухой и скрипучий, как старое перо. – Мы расстались всего четыре часа назад, когда ваш друг пристав соизволил нас отпустить. Разве я недостаточно ясно ответил на вопросы полиции?

– Садитесь, если найдёте куда.

Воронов сдвинул стопку книг с венского стула и сел напротив, положив трость на колени.

– Пристав Шульгин мне не друг, Лев Борисович, а вопросы полиции меня интересуют мало. Они ищут факты для протокола: кто где стоял, что пил. А я ищу смысл.

– Смысл? – Гурский криво усмехнулся, и в этой улыбке сквозила безмерная усталость. – В смерти Рыльского нет смысла. Только дурная театральщина. Вы же видели этот фарс. Кинжал, поза, пятно на манишке... Даже умирая, он умудрился превратить всё в дешёвое шоу. Он не мог уйти тихо, как приличный человек. Ему нужны были зрители до самого конца.

Его цинизм был не позой, как у покойного поэта. Он был броней. Холодной, стальной броней, которую этот человек носил годами, защищаясь от чужого успеха.

– Вы называете убийство фарсом? – спросил Воронов, внимательно наблюдая за собеседником. – А мне показалось, что для вас это был праздник. Я наблюдал за вами в зале, пока мы ждали полицию. Вы не выглядели испуганным. Вы

выглядели... удовлетворённым.

Гурский сплёл длинные, испачканные чернилами пальцы.

– Я не буду лицемерить и лить слёзы, господин сыщик. Да, я испытал облегчение. Судьба – плохой писатель, она часто затягивает сюжеты. Иногда ей нужно помочь поставить точку там, где она уместна. Рыльский исписался. Он стал пародией на самого себя. Его смерть сейчас – это лучший финал, о котором он мог мечтать. Он ушёл трагически, загадочно, оставив после себя легенду, а не кучу неоплаченных счетов и сифилис.

– Вы ненавидели его, – тихо, но твердо произнес Воронов. – Не как критик поэта. А как мужчина мужчину.

В глазах Гурского на мгновение вспыхнул огонь – тёмный, застарелый огонь обиды, который тлел под пеплом равнодушия.

– Ненависть – слишком горячее чувство для меня. Скажем так: я презирал его всеядность. Ему всё давалось легко. Стихи, женщины, слава... Он не работал над словом, он выплёвывал его вместе с кровью и вином, и толпа ревела от восторга. А мы... – он обвёл рукой кабинет, заваленный рукописями, – мы, чернорабочие искусства, годами оттачиваем каждую строку, чтобы остаться незамеченными в его тени.

– Говорят, у вас были и более конкретные причины для презрения, – надавил Воронов. – История с поэмой «Танец Саломеи».

Лицо Гурского дёрнулось, словно от зубной боли. Маска

бесстрастия на секунду треснула, обнажив живую рану.

– Вы хорошо подготовились, несмотря на бессонную ночь. Да, это правда. Идея была моей. Я вынашивал её два года. Я имел неосторожность поделиться ею с ним однажды, в минуту душевной слабости, под пьяную лавочку. Я читал ему черновики, я раскрыл ему замысел... А через месяц он уже читал «свою» поэму со сцены, срывая овации. Он был гениальным вором, господин Воронов. Он крал не кошельки. Он крал души.

– И вы решили вернуть долг?

Гурский откинулся на спинку стула и посмотрел на сыщика с ледяным спокойствием.

– Если бы я хотел убить его за плагиат, я бы сделал это год назад. Или вызвал бы его на дуэль, хотя стреляться с паяцем – ниже моего достоинства. Нет, я не убивал его. Я лишь наблюдал за его падением. И, признаюсь, это зрелище доставляло мне эстетическое наслаждение.

– Где вы были в тот момент, когда свет погас и Рыльский остался один на сцене? – Воронов перешёл к деталям. – Я помню, что вы сидели в углу. Но потом началась суматоха.

– Я оставался за своим столиком, – твердо ответил Гурский. – Со мной были поэт Кузмин и художник Судейкин. Мы обсуждали новую постановку Мейерхольда и старались не смотреть на пьяные выходки Кеши. Они подтвердят, что я не подходил к сцене ни на шаг.

Алиби было весомым. Кузмин и Судейкин – фигуры из-

вестные, их слово имеет вес. Но Воронов знал: в той темноте и хаосе, когда толпа ринулась к выходу, а потом обратно, можно было сделать многое.

– Скажите, Лев, – Воронов подался вперёд, понизив голос. – А рукопись? Та, что лежала перед ним на столе. Вы ведь знали, что он читал что-то новое? Вы видели этот листок?

Гурский на секунду замер. Его взгляд метнулся к стопке бумаг на столе, потом вернулся к Воронову. Впервые за весь разговор в его глазах промелькнуло что-то похожее на тревогу.

– Рукопись? – переспросил он с деланным равнодушием. – Очередной бред воспалённого сознания? Нет, я не видел, что он там читал. Я старался не слушать.

– Странно, – задумчиво произнёс сыщик. – Пронин утверждает, что Рыльский смотрел именно на вас, когда читал эти последние стихи. И что в них было что-то... личное. Яд, предназначенный специально для вас. А теперь этот листок исчез. Убийца забрал его из кармана мёртвого поэта.

Гурский сжал кулаки так, что побелели костяшки.

– Пронин – истеричка, – отрезал он резко, почти грубо. – Ему везде мерещатся драмы. Рыльский смотрел на всех и ни на кого. Он был нарциссом, он видел только своё отражение в наших глазах. И если кто-то забрал его каракули – значит, этот кто-то такой же фетишист, как и те дуры, что собирали окурки его папирос.

Воронов поднялся. Разговор зашёл в тупик, но этот тупик был информативнее любого признания. Гурский защищался не эмоциями, как Лили, а интеллектом. Его логика была безупречна, но именно эта безупречность и настораживала. Он слишком старался показать своё безразличие к тому, что на самом деле сжигало его изнутри.

– Благодарю вас, – сказал Воронов, надевая шляпу. – Вы очень помогли мне понять... атмосферу.

– Рад был послужить, – Гурский уже потянулся к перу, всем видом показывая, что аудиенция окончена. – Ищите женщину, господин сыщик. *Шерше ля фам*. В драмах Рыльского всегда виноваты женщины. Или деньги. А мы, поэты, – народ мирный. Мы убиваем только метафорами.

Выходя из редакции на набережную Мойки, Воронов чувствовал спиной тяжёлый взгляд из окна второго этажа.

«Мирный народ, – хмыкнул он, вспоминая перекошенное лицо Лили и холодные глаза Гурского. – Как же. Змеи в банке более миролюбивы».

Гурский знал о рукописи. Воронов был в этом уверен. Он боялся её содержания. Если Лили Соколова могла убить в припадке безумия, то этот человек мог убить, чтобы уничтожить слова. Уничтожить то, что могло окончательно разрушить его репутацию. Для писателя слово может быть страшнее пули.

Теперь задача усложнялась. Воронову нужно было не просто найти убийцу, а найти текст. Текст, который стал смерт-

ным приговором.

Он поправил воротник и зашагал вдоль канала. Следующим шагом нужно было понять, что именно скрывали эти стихи. И если поэт мёртв, а рукопись украдена, оставался только один путь – найти тех, кто умел читать между строк.

Глава 6. Чернила и желчь

Выйдя из прохладной, пахнувшей пылью редакции «Аполлона», Воронов почувствовал острую необходимость сменить декорации. Разговор с Гурским оставил неприятный осадок – словно он пытался ухватить кусок льда, который таял в руке, оставляя лишь холодную воду и пустоту. Высокомерный поэт спрятался за стеной интеллектуального снобизма, и пробить эту стену лобовой атакой было невозможно.

Воронову требовался не философ и не критик. Ему нужен был переводчик. Человек, способный перевести с возвышенного языка символов на грязный, понятный язык петербургских фактов. Ему нужно было знать не метафорический смысл «яда», а его химический состав.

Он велел извозчику ехать на Невский проспект, к знаменитому кафе «Доминик».

Это было место, где новости рождались раньше, чем попадали в свинцовые наборы типографий. Здесь, в густых облаках табачного дыма, под дробный стук костяшек домино и звон бильярдных шаров, обедали, пили и продавали чужие секреты лучшие – и худшие – репортеры столицы. Здесь пахло жареными пирожками, дешевым кофе и дорогими сплетнями.

Аркадия Звонского, ведущего хроникера скандальной газетенки «Сплетни столицы», Воронов нашел в дальнем углу

зала. Звонский, молодой человек с бегающими, маслянистыми глазками и напوماженными усами, закрученными в игривые колечки, сидел над тарелкой с расстегаем. Он пожирал еду с той же жадностью, с какой обычно набрасывался на свежую сенсацию. Перед ним, среди крошек и пятен соуса, лежала стопка исписанных карандашом листов.

– Аркадий, – Воронов опустил на венский стул напротив, не снимая пальто и не спрашивая разрешения.

Звонский поперхнулся, закашлялся, но, увидев сыщика, мгновенно расплылся в широкой, приторной улыбке.

– Родион Ильич! Какая встреча! Глазам не верю! – он вытер жирные губы салфеткой. – Неужто сама судьба привела вас к моему скромному столу? Город гудит, Родион Ильич! Говорят, вы были в «Собаке» сегодня ночью? Видели всё своими глазами? Это же бомба! Убийство премьера декаданса! Если дадите мне эксклюзив – клянусь, завтра ваш портрет будет на первой полосе!

– Эксклюзива не будет, – холодно отрезал Воронов, жестом подзывая полового. – Кофе. Черный. И воды.

Он повернулся к журналисту, который сразу сник, поняв, что бесплатной сенсации не обломится.

– Зато у меня есть загадка, Аркадий. И я плачу за отгадку звонкой монетой.

Глаза репортера алчно блеснули. Деньги он любил почти так же сильно, как чужие беды.

– Я весь внимание, – он отодвинул тарелку. – Загадки –

мой профиль. Особенно если они касаются покойного Рыльского. Царствие ему небесное, конечно, но, между нами говоря, сволочь он был порядочная. Высокомерная сволочь.

Воронов достал блокнот, куда по памяти, еще утром, записал роковые строки.

– Рыльский прочел это за минуту до смерти. Это было его прощание. Мне нужно знать, о ком это. Не в общем философском смысле, Аркадий, а конкретно. Имена, явки, грязное белье. Я знаю, что ты ведешь досе на всю эту богемную тусовку.

Звонский взял блокнот. Его бегающий взгляд заскользил по строчкам. Сначала он хмыкнул. Потом удивленно поднял брови. А в конце – тихо, гадко присвистнул.

– Ого! – протянул он. – Да Кеша решил перед смертью не исповедоваться, а нагадить всем в душу напоследок. Это же не стихи, Родион Ильич. Это фельетон. Пасквиль в рифму. Он же их всех раздел догола!

– Поясни, – потребовал Воронов.

– Смотрите, – журналист ткнул пальцем с обгрызенным ногтем в первую строфу. – *«Любовь – гниет в дешевой раме»*. Это он про Лили Соколову, к гадалке не ходи. Но дело не только в том, что он её бросил и растоптал. Тут намёк потоньше и погрязнее.

Звонский понизил голос и наклонился через стол, обдавая Воронова запахом лука и табака.

– Вся богема знает, но молчит: до встречи с Рыльским, лет

пять назад, юная Лили позировала для открыток... скажем так, фривольного содержания. «Ню». В пеньюарах, с веерами, на шурах. Эти карточки продавались в дешевых лавках на Садовой. В дешевых рамках. Рыльский вытащил её из этой грязи, отмыл, сделал актрисой, музыкой... А этими строками он публично напомнил ей и всем вокруг, кем она была. Он сказал: «Ты не актриса, ты – девка с открытки». Это удар ниже пояса. За такое женщины не просто плачут. За такое они готовы убить, чтобы сохранить лицо.

Воронов медленно кивнул. Это объясняло многое. Истерика Соколовой была вызвана не просто ревностью. Это был страх позора. Страх снова оказаться в той грязи, из которой она с таким трудом выбралась.

– Дальше, – коротко бросил он.

– *«Дружба – верный пес, повешенный друзьями»*, – прочитал Звонский и снова хихикнул. – Ну, это камень в огород нашего высоколобого Льва Гурского. Тут история еще смешнее. Гурский ведь строит из себя мэтра, эстета, хранителя традиций Пушкина. Нос дерет так, что люстру задевает. А лет семь назад, когда он был нищ как церковная крыса и голодал, он написал... как бы это деликатнее... серию бульварных романов.

– Романов? – удивился Воронов.

– Ну да! Дешевое чтиво в мягких обложках. «Похождения сыщика-любовника», «Кровавая графиня»... Чушь несусветная, для кухарок и извозчиков. Писал под псевдо-

нимом, разумеется. Стыдился страшно. Рыльский, видимо, раскопал доказательства. Может, черновик нашел или письмо издателя. Представьте: серьезный критик «Аполлона» – автор бульварщины! Это конец репутации. Его засмеют. Его выгонят из всех салонов. Рыльский держал его на крючке.

Воронов нахмурился. Шантаж. Рыльский наслаждался властью над другом-врагом. Рукопись, которую искал убийца, могла содержать не просто стихи, а то самое доказательство авторства.

– А что насчет «сорванной вуали»? – спросил сыщик. – «Я с мясом рву вуаль!».

– О, это самое интересное! – Звонский аж заерзал на стуле от удовольствия. – Княгиня Трубецкая. Наша «черная вдова». Она же помешана на спиритизме, на общении с духами. Рыльский был её главным медиумом. Но ходят упорные слухи, Родион Ильич, что там дело не только в столоверчении.

– В чем же?

– В молодости. Княгиня панически боится стареть. Говорят, она готова отдать половину состояния за чудо. И Рыльский, кажется, пообещал ей это чудо. Какой-то «Великий Эксперимент», алхимия, эликсир Клеопатры... черт их разберет. Суммы там крутятся – нам с вами и не снилось.

Журналист сделал многозначительную паузу.

– Если он собирался «сорвать вуаль» – значит, хотел объявить во всеуслышание, что всё это было аферой. Что он просто водил её за нос. Представьте положение княгини!

Старая, глупая женщина, которую обобрал молодой жиголо, прикрываясь магией. Родственники тут же упекли бы её в сумасшедший дом и наложили опеку на имущество. Для неё это не просто позор. Это конец жизни.

Звонский откинулся на спинку стула, довольный произведенным эффектом.

– В общем, покойничек ваш был тем еще фруктом. Он собрал вокруг себя людей, у каждого из которых в шкафу по скелету, и в ту ночь решил открыть все двери разом. Зачем? Не знаю. Может, с ума сошел от абсента. А может, просто ему стало скучно быть богом, и он решил стать дьяволом.

– Спасибо, Аркадий, – Воронов положил на стол серебряный рубль. Монета звякнула о блюде. – Ты, как всегда, знаешь больше, чем вся полиция вместе взятая.

– Работа такая – в чужом белье копать, – философски заметил Звонский, накрывая монету ладонью. – Кстати... есть еще одна деталь. Не про стихи, а про дела. Бесплатно, по старой дружбе.

– Ну?

– Рыльского в последнее время видели в странной компании. Был такой художник, Семен Грачёв. Личность мутная. То ли гений, то ли сумасшедший. Живет как бирюк, рисует каких-то демонов, но главное не это. Говорят, он помешан на оккультизме и химии. Варит какие-то зелья, ищет философский камень.

– И что их связывало?

– Деньги княгини, я полагаю, – подмигнул Звонский. – Рыльский был лицом «проекта», а Грачёв – его руками. Эстет во фраке и безумный алхимик в грязной блузе. Странная парочка. Но если Рыльский решил кинуть всех, то Грачёв мог пострадать первым. Фанатики не прощают, когда предадут их веру.

Воронов встал. Грачёв. Это имя он слышал от Пронина, но в суматохе ночи не придал ему значения. Теперь пазл начал обретать форму.

Рыльский шантажировал любовницу прошлым, друга – постыдным заработком, покровительницу – аферой с вечной молодостью. А параллельно использовал безумного художника для создания иллюзии чуда.

Он не просто искал смерти. Он старательно, с упорством маньяка, рассылал приглашения на собственные похороны всем, кого знал.

– Еще раз спасибо, – бросил сыщик и направился к выходу.

Шум кафе «Доминик» остался позади. Воронов вышел на Невский проспект. Холодный ветер ударил в лицо, но этот холод был чище, чем та грязь, которую только что вывалил на него журналист.

Теперь он понимал природу исчезнувшей рукописи. Это были не просто стихи. Это был список грехов. Компромат, облеченный в рифму. И кто-то в том подвале решился на убийство не из-за «высокой трагедии», о которой говорил

Гурский, и не из-за «разбитого сердца», как плакала Лили. А из-за банального, животного страха быть разоблаченным и уничтоженным.

Список подозреваемых обрел плоть и кровь. И теперь в нем появилось новое, загадочное имя – Грачёв. Художник-мистик, чья роль в этой драме была пока скрыта в тумане химических испарений.

Воронов поднял воротник. Ему предстояло спуститься с небес поэзии в подполье оккультизма. И он подозревал, что там будет пахнуть не ладаном, а серой.

Глава 7. Черная метка

Сведения, полученные от пронырливого журналиста Звонского, жгли карман, требуя немедленной проверки. Ниточка вела в мир, где торговали не новостями, а прошлым – в Апраксин переулочек, в лавку старого антиквара Исаака Берга. Именно там, по слухам, Рыльский и его загадочный друг-художник закупают реквизит для своих мистических сеансов.

Воронов поймал извозчика на Невском, но, повинувшись внезапному, тревожному чувству, велел остановиться за квартал до нужного места. Интуиция, выработанная годами службы в сыске и на войне, шептала: «Не подъезжай к парадному входу».

Он расплатился и двинулся пешком. Вечер опустился на Петербург тяжелым, мокрым одеялом. Фонари в этом районе горели через один, и тени от домов казались длинными, хищными щупальцами. Воронов свернул в узкий проходной двор, который выводил прямо к черному ходу антикварной лавки.

Здесь было тихо. Слишком тихо для центра города. Снег под ногами не хрустел, а чавкал, превращаясь в грязную кашу. Воронов сделал несколько шагов и остановился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.